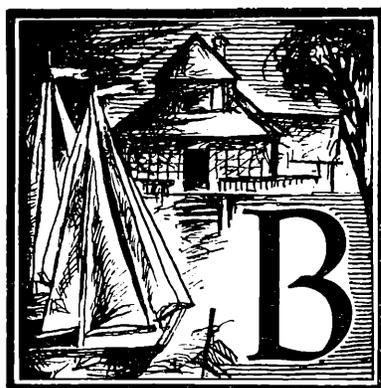


## ВАЛЕНТИНА ХОДАСЕВИЧ



1906 году я впервые увидела А. Н. Толстого на вечере Игоря Северянина в «Обществе свободной эстетики», куда привел меня отец, неутомимо стремившийся, в педагогических целях, начинать меня, с самого раннего детства, большим количеством разнообразнейших впечатлений. И тот вечер четко врезался мне в память.

Комнаты «Эстетики» постепенно заполнялись представителями новейших течений литературного мира и интеллигенции Москвы того времени. Отец называл мне главных: «Вот Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Бердяев, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Константин Липскеров, Виктор Гофман, Гершензон, Ни-

на Петровская...» К этим именам отец прибавлял мало мне понятные в то время слова — «символист», «акмеист», «декадент», «философ»<sup>1</sup>.

Входили мужчины и женщины какого-то странного вида. Меня поражали и бледность (иногда за счет пудры) их лиц, и преобладание черных сюртуков особого покроя на мужчинах, и какие-то балахоноподобные, из темных бархатов, платья на женщинах.

Они скорее проплывали, чем ходили, в каком-то замедленном ритме. В движении были вялость и изнеможение. Говорили нараспев, слегка в нос. И я уверена была, что они условились быть особенными.

Уже появился и сам Северянин, впервые выступавший в Москве. Все заняли места в комнате, где происходили выступления.

Настала благоговейная тишина, и вдруг какой-то шум привлек внимание всех к входным дверям, в которые торпливо и слегка властно входил молодой, красивый человек очень холеного вида, с живым, нормального цвета лицом и веселыми глазами. И мне показалось, что это человек из какого-то другого, более жизнерадостного мира, чем большинство присутствовавших, хотя что-то «особенное», но другое, было и в нем. Вошел А. Н. Толстой.

Это мое первое полудетское впечатление, как выяснилось в дальнейшей жизни, не обмануло меня. До последних дней его жизни ярко горела в Толстом радость жизнеутверждения, и, конечно, «особенным» он был всегда.

\* \* \*

Познакомилась я с А. Н. Толстым в Москве. В то время я была молодым художником-живописцем и писала преимущественно портреты. Толстой, увидев на одной из выставок мои работы, просил меня написать портрет его жены Натальи Васильевны Крандиевской. Жил он в одном из переулков Арбата. Я пришла к ним. Наталья Васильевна меня очаровала с первого взгляда. Мы долго обсуждали и позу, и платье, и фон будущего портрета. Толстой во всем этом принимал страстное участие — вол-

---

<sup>1</sup> Подлинные слова А. Н. и других упоминаемых лиц я беру в кавычки.

повался, говорил о тоне, цвете, композиции портрета. И я поняла, что он любит живопись и хорошо разбирается в ней. По молодости лет я даже слегка струсил перед таким взыскательным заказчиком, но одновременно очень вдохновилась будущей работой. Не помню, какие обстоятельства помешали осуществлению этого портрета, и он не был написан мною. В этом же году я переехала в Петербург, и мое мимолетное знакомство с Толстым оборвалось.

\* \* \*

Вновь я попала к Толстым в 1929 году, когда они уже поселились в Детском Селе, где Алексей Николаевич прожил до 1938 года. Мое знакомство быстро перешло в дружбу. Дом Алексея Николаевича был очень оживленным и гостеприимным. Подрастали дети Толстых, в дом вливались их многочисленные друзья — веселая талантливая молодежь, русло жизни Толстого расширялось и обогащалось новыми интересами, новыми волнениями и забавами. Устраивались маскарады, елки, шарады и зимние ночные катания в розвальнях. Главным заводилой был, конечно, Алексей Николаевич. Так же, как впоследствии в Барвихе и везде, где бы он ни обосновывался, Толстой работал ежедневно по 4—5 часов. По воскресеньям к нему приезжали на целый день из Ленинграда, в большом количестве, разнообразнейшие люди. А на неделе, к вечеру, собирались более близкие друзья. Уже и тогда умел Алексей Николаевич объединить у себя людей самых разных характеров, профессий и возрастов, и к нему жадно тянулись люди. Всех привлекал бурно растущий талант Толстого как писателя, его энергия, оптимизм, ненасытное отношение к жизни, любовь и вера в людей и родину.

Очень уж безнадежные пессимисты и бесцветные люди, естественно, и не бывали у Толстого. Слова и выражения — «скука», «лень», «мелкая душонка», «паршивый склочник», «подхалим», «трус», «бездарный дурак» — произносил он как-то гнусавя, с явной брезгливостью. Не помню, чтобы он употреблял выражение «мне кажется», — он видел, чувствовал, знал.

Детское Село Алексей Николаевич очень любил и

знал его парки, дворцы и окрестности в мельчайших подробностях и, неумолимо восхищаясь, водил и приобретал к этим красотам всех приезжавших к нему. Водил иногда очень далеко, чтобы показать особенной формы или цвета дерево, а иногда даже отдельную ветку.

Часто ездил Толстой в Ленинград по делам, но также не пропуская интересных спектаклей и концертов. Любил ездить в гости, а иногда, поддавшись своему вечно молодому задору, прихватывал с собой нескольких своих друзей, которых настолько упорно убеждал, что поехать неприглашенными и есть самое привлекательное, что они сдавались и подчинялись. Хозяева дома, не подготовленные к такому нашествию, бывали, естественно, удивлены и растеряны, а приехавшие — смущены. Но Алексей Николаевич умел в таких лестных выражениях представить друг другу хозяев и гостей, что всем не оставалось ничего другого, как чувствовать себя польщенными.

Тут Алексей Николаевич брал инициативу в свои руки, вел себя столь уютно и непринужденно, что неловкость быстро рассеивалась, и «пострадавшие» хозяева потом обычно говорили, что такого интересно проведенного обеда или вечера они у себя не помнят.

Также и домой, в Детское Село, из Ленинграда он вваливался часто в сопровождении изрядного количества нежданных гостей. А бывали и такие случаи, когда он, войдя в дом, говорил: «Через час поездом приедут человек двадцать пять — тридцать. Уговорились, что к обеду». И если у Алексея Николаевича спрашивали: «Кто же приедет?» — он говорил: «Не приставайте! Мотался по городу, приглашал не помню кого, но безусловно все — чудные люди! Вот сами увидите». Лица домашних, особенно ведавших хозяйством, естественно, выражали легкий ужас, но всегда все улаживалось к общему удовольствию.

Нередко читал Толстой собравшимся у него отдельные главы и куски тех произведений, над которыми в данное время работал, и внимательно следил за произведенным впечатлением и высказываемыми суждениями. Иногда, в очень узком кругу людей, любил он импровизировать устные рассказы; желание это, тема и ее развитие возникали внезапно. Называл он это — «враньем».

Помню, каким страстным партнером Алексея Никола-

евича в этом занятии бывал художник В. С. Басов. Толстой говорил: «Басов, давай поврем, что ли!» И вот начиналось что-то вроде состязания. Садились за стол, Алексей Николаевич приносил бутылку хорошего красного вина, и они начинали. Оба волновались, глаза их горели, они перебивали друг друга, тут же призывали к порядку очередности. «Ну, ладно, кончай уж! А потом я тебе так навру!» — говорил Алексей Николаевич угрожающе. Рассказы были сугубо реалистические, с необычайно убедительными подробностями. Я слушала их затаив дыхание — так это бывало интересно. Безусловно, победителем в этих своеобразных соревнованиях был Толстой. Но все же иногда он с легкой досадой говорил: «Ну и здорово же ты врал сегодня, Басов!»

Я думаю, что в этих рассказах Алексей Николаевич, вероятно, прицеливался, брал разгон и оттачивал какие-то отдельные выражения, фразы и характеры — это были его профессиональные писательские упражнения.

В течение 1935 года в личной жизни Алексея Николаевича Толстого произошли большие перемены — он разошелся со своей женой Н. В. Крандиевской-Толстой и женился на Л. И. Крестинской.

Очень любил Алексей Николаевич свой сад вечерами и ночью; его тишину, легкие запахи его цветов и земли, запах морозного воздуха зимой. Молчал, вдыхал, любовался, а если говорил, то каким-то благоговейным тихим голосом.

Чувствовал он иногда необходимость поговорить «по душам» о сугубо личных, подчас сложных и важных домашних делах и в таких случаях бывал слегка смущенным. Для таких бесед чаще всего выбирал он странную обстановку — внутреннюю, деревянную, с уютными пузатыми балясинами перил лестницу, ведущую во второй этаж, в личные комнаты. Расставив на ступенях несколько пар обуви и разнообразнейшие предметы для чистки ее (Толстой почему-то любил сам чистить обувь), он усаживался на край одной из ступенек, приглашая меня расположиться так же. Осмотрев внимательно башмак или туфлю, подлежащие чистке, он приступал к делу, а одновременно и к разговору. К концу разговора обувь была доведена до изумительной чистоты и блеска. Иногда он говорил: «Хоть бы привезла какие-нибудь особо

грязные, паршивые туфли, а то дома я все уже перечистил!»

18 июня 1936 года мы поехали с В. С. Басовым в Детское Село к Толстому. Было часов двенадцать дня, когда мы, подходя с вокзала к дому Алексея Николаевича, увидели на улице конных милиционеров, торопивших дворников водружать на доме траурные флаги. Я спросил: кто умер? Милиционер ответил: «Великий пролетарский писатель Максим Горький». У меня было ощущение, что земля пошатнулась под ногами. Толстой сидел дома и работал. Он еще не знал о смерти Алексея Максимовича...

Сидели мы на террасе долго, молча, какие-то оглушенные, чувствуя себя осиротевшими и несчастными. Начались телефонные звонки из Ленинграда — организовывались митинги и формировались делегации на похороны Горького.

Помню невыносимо горестный и очень торжественный одновременно вынос урны с прахом Горького из дверей Дома Союзов. Члены правительства и А. Н. Толстой благоговейно несли по Красной площади помост, утопавший в цветах, на котором стояла урна, и поставили его на гранитную площадку Мавзолея Ленина. Начался всенародный митинг. Как-то по-особому собранно, серьезно и ответственно выглядел Алексей Николаевич.

В 1938 году Толстой переехал в Москву.

\* \* \*

Часто бывал Алексей Николаевич, а иногда и подолгу жил и работал у А. М. Горького и в Сорренто, и в Горках, и в Тессели. Горький очень любил Алексея Николаевича и восхищался его бурной талантливостью не только в литературе, но и в жизни и всегда зорко и с любопытством присматривался к нему.

Дружеские беседы Алексея Николаевича с Горьким касались судеб советской литературы, и вопросов социалистического реализма, и науки, и политики, и сугубо личных профессиональных вопросов.

В доме А. М. Горького Алексей Николаевич встречался с руководителями партии и правительства и участвовал в происходивших деловых совещаниях и беседах, слу-

шал, говорил, бурлил, как всегда, внимательно впитывал услышанное и многое уяснял себе в результате этих бесед и встреч. Все это помогло ему встать на путь больших общественных дел, которые он выполнял с присущими ему страстностью и талантом.

Конечно, А. Н. Толстой вносил в жизнь Горюк и свою ненасытность к развлечениям и озорство. Тут были и рыбная ловля бреднем или сетями, и далекие походы в леса за грибами, и купанье в Москве-реке с чехардой и кульбитами в воде, и множество других, внезапно возникавших, но всегда увлекательных затей — на что были очень падки все живущие в Горюках во главе с самим Алексеем Максимовичем.

Однажды летом решено было организовать под вечер «грандиозную, сверхъестественную» рыбную ловлю бреднем в Москве-реке, на высоком берегу которой расположены Горюки. Тут же на берегу, по предложению Горюкого, предполагалось разложить костры и варить уху из будущего улова, — как известно, Алексей Максимович питал особую любовь к кострам.

В тот вечер у Горюкого собралось довольно много народу. Спустились к реке. Вода была весьма прохладной. Молодежь должна была лезть в воду и вести бредень. Толстой рвался тоже участвовать в этом, но ему воспретывали. Алексей Николаевич одет был в очень простой, но восхитивший всех костюм какого-то необычного, замечательного синего цвета. «Это дома так дивно выкрасили, а рубаха и штаны самые обыкновенные, из полотна», — хвастался Алексей Николаевич. Он любил детально обдумывать свою одежду, и цвет играл в этом очень большую роль. Все, что на нем бывало надето, всегда отличалось чем-то не совсем обычным, а главное — он умел носить одежду очень непринужденно, как бы не замечая.

Рыбная ловля началась. Бредень повели. Мы все стояли на берегу и наблюдали за рыболовами — больше всех волновался Толстой. Внезапно бредень зацепился за корягу, и ведущие тщетно пытались его отцепить. Никто не заметил, как и когда Толстой не выдержал, влез в воду в одежде и обуви и по горло в воде уже стоял около бредня. Вскоре бредень был отцеплен, а Алексея Николаевича с трудом уговорили выйти на берег. Когда он уже на бе-

регу прыгал, фыркал и отряхивался, смешно имитируя выкупавшуюся собаку, мы заметили, что вода, стекавшая с него, шея, руки были ярко-синими, а лицо — в синюю крапинку. «Дома выкрашенный» костюм линял и явно был виной этому. Решено было тут же раздеть Алексея Николаевича и вымыть. Кто-то, уже вскарабкавшись по откосу, бежал к дому за мылом и мочалкой. За ужином Толстой предстал в голубом виде, что нимало не смущало, а скорее веселило его. В течение недели ежедневно топили баню, отпаривали и отмывали уважаемого писателя и наконец довели до естественного цвета.

\* \* \*

В Барвихе, куда Алексей Николаевич переехал в 1938 году, я бывала вплоть до 1945 года, исключая военные годы — с лета 1941-го по 1943 год.

Барвиха. Дача Алексея Николаевича Толстого. Утро. Просыпаюсь от доносящегося снизу, с лестницы, ведущей во второй этаж, зловещего шепота Алексея Николаевича: «Валентина, ты спишь, — вставай немедленно. Людмила уже встала, дивная погода, необходимо завтракать, ты ничего не понимаешь... и все проспишь...» Все это произносилось как единая фраза, на одном дыхании, без знаков препинания, для большего воздействия, очевидно.

Так как всей моей жизни сопутствовал страх, что я что-то пропущу и что, конечно, я многого не понимаю, слова Алексея Николаевича действовали магически, и через несколько минут я уже мчалась в пижаме вниз, где Алексей Николаевич изывал от неразделенного (а для него это значило — и неполного) восторга по поводу наступившего дня и всего окружающего. И как приятно было поддаться радости бытия и воспринять эту утреннюю зарядку.

Все было, по определению Алексея Николаевича, «замечательным». И унылый мелкий дождь за окнами, «он ведь облагораживает краски пейзажа, стусевывает границы видимого горизонта, удаляя его, и особенно праздничными, на сером фоне дождя, выглядят большие толстые глыбы цветного стекла» (образчики работ лепниградской лаборатории цветного стекла, возглавляемой

профессором Н. Н. Качаловым, другом Алексея Николаевича, лежащие кучей на большом подносе), и поданные к завтраку в кастрюле, из-под крышки которой вырывается пар, «небывалая манная каша» и «сказочного великолепия сосиски».

Да! Алексей Николаевич так умел сказать даже про манную кашу, что мне, которая с детства питала к ней отвращение, начинало казаться, что я впервые ем что-то столь необычайно вкусное.

«Поколбасившись» (это выражение Алексея Николаевича значило — поозорничать), в конце завтрака Алексей Николаевич читал газеты. Хитрые, задорные огоньки в глазах потухали, даже движения делались более серьезными и степенными. Внезапно и необычайно бодро уходил он в свой рабочий кабинет, уже на ходу торопливо спрашивал, принесли ли ему чайник — почему-то в чайник наливал черный кофе, который он пил в большом количестве, когда работал.

Даже после его ухода все окружающее и всё, о чем говорилось, увиденное его внимательным глазом и преобразенное его метким словом, казалось особенным, увлекательным и интересным и возбуждало желание творчески и действительно относиться к жизни.

\* \* \*

Вновь я гощу в Барвихе. Весна. Ходим по лесу, холмам, полянам. Каждая мелочь в природе, каждая почка, листик, птица привлекают внимание и вызывают восторг Алексея Николаевича. И вдруг, сорвав какой-то невзрачный желтенький цветок и любовно посмотрев на него, Алексей Николаевич останавливается и очень серьезно говорит: «Ты понимаешь,— я очень счастливый человек!..» На мою реплику, что у меня нет причин думать иначе, он продолжает: «Нет, все это было не то, а вот теперь, когда я решил для себя вопрос формы, я действительно стал счастливым! Теперь можно все отдавать мысли — то есть главному. И это произошло со мной совсем недавно. Как-то, проработав сколько мне полагается часов за день, я обнаружил, что написал на несколько страниц больше и не устал. Даже огорчился. Думаю — что-то неблагополучно, наверное плохо, придется править

и многое выбрасывать. С досады не стал даже перечитывать. Вечером думаю — дай все же погляжу. Читаю — все на месте, хорошо, даже здорово. Но, а почему же быстрее? Почему легко? Вот тут-то я и заподозрил, что стал хозяином формы и она мне наконец подчинилась. В последующие дни работы я окончательно убедился в этом. А сколько лет она меня, проклятая, мучила! Желая тебе дожить до такого счастья!»

Опять Барвиха. Зима. Вечер. Алексей Николаевич ждет гостей — их будет много. Он заботливо вспоминает вкусы, привычки каждого, чтобы всем было уютно, удобно, приятно. Наблюдает и помогает украсить стол хрусталем, цветами и фруктами. Он режиссирует мизансцены — куда и кого с кем посадить. Растапливается камин, зажигают свечи. Все в столовой и прилегающих комнатах начинает постепенно включаться в предстоящий праздник. Все красивые и радостные вещи, вероятно, радуются и гордятся тем, что они будут служить людям, а не стоять мертвыми экспонатами в шкафах и на полках.

Гости собрались. Алексей Николаевич приглашает всех за стол, обещая угостить «небывалой вкусноты, могучими русскими и даже райскими яствами и винами».

В камине уже разгорелись огромные березовые поленья, на столе и стенах мерцают свечи в канделябрах и настенных бра. Огненные блики ложатся на вещи, выявляя их причудливые формы, на позолоту и полированные поверхности черной бронзы, пробегают по хрусталу и фарфору, растушевываются на стенах, скользят по лицам и рукам людей, подчеркивая их мимику и жесты.

В открытые двери, ведущие в другие комнаты, виднеются освещенные мягким светом, прекрасные картины, гравюры, старинная мебель, шкафы с книгами, вазы с цветами и много зеленых растений в горшках. Необычайно тонко, а иногда неожиданно дерзко сочетаются тона обивки мебели, подушек, портьер, стен и ковров. Все очень обдуманно, спокойно, красиво и не вызывает сомнений, что именно так и надо было все расположить.

Алексей Николаевич нет-нет да и взглянет на все это с любовью и радостью — ведь каждую вещь выискивал он сам, руководствуясь своим вкусом и знаниями, и сам

находил ей место. Каждый гвоздь для картин и гравюр вбит в стену его руками. А все вместе, в какой-то мере, является его удачным художественным произведением. И вот все заняли места за столом. Наполняют рюмки и бокалы (водку Алексей Николаевич всегда переливал в затейливые штофы времен Петра Первого), подают разные пироги и кулебяки на железных листах прямо из печи, огромные горшки гречневой каши с печенкой, грибами и шкварками, разные рыбы и горячие закуски на сковородах, подогреваемых горячими углями, насыпанными на подносы, и много других вкусных и забавных блюд.

За столом сидели писатели, поэты, музыканты, певцы, художники, актеры, скульпторы, изобретатели, ученые, летчики и военные. Не могу припомнить все имена, но запомнились в тот вечер Д. Д. Шостакович, Н. С. Голованов, Ю. А. Шапорин, А. В. Нежданова, Зоя Лодий, Н. А. и Е. П. Пешковы, К. А. Федин, К. А. Липскеров, И. Д. Шадр, П. Д. Корин, М. М. Громов, Р. Н. Симонов, А. Н. Тихонов (Серебров), В. С. Басов. Начинаются тосты — прекрасные художественные импровизации, умные, остроумные, шуточные и серьезные, — к этому побуждала вся атмосфера праздника, которая сопутствует всюду Алексею Николаевичу.

Звучали стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака. Их читали не только поэты и актеры. В тот вечер даже прославленный Герой Советского Союза М. М. Громов, с большим внутренним волнением и очень хорошо, наизусть читал стихи Пушкина и Лермонтова. Бурлили горячие споры, возникало тесное общение между даже впервые встретившимися людьми. И все взаимно обогащались новыми мыслями, новыми чувствами, и мне казалось, что все внутренне и даже внешне хорошеет при этом.

После ужина переходили в другие комнаты, смежные со столовой. В одной из них к услугам музыкантов был прекрасный рояль Бехштейна, звучало пение Неждановой, Лодий, Шостакович и Шапорин играли свои произведения. Все это обсуждалось, многие делились своими мыслями о новых задуманных произведениях, и так — до рассвета. Надо было удивляться, каким неутомимым и умным дирижером и режиссером жизни был

Толстой. Его талант умел зорко видеть и ненасытно брать все примечательное от людей и щедро отдавать воспринятое.

\* \* \*

Естественно, что самым главным в жизни Алексея Николаевича была его писательская работа. Он работал по четыре-пять часов ежедневно и очень злился и волновался, если что-либо, даже очень важное, нарушало этот распорядок.

И в какие только русла рек житейских не заносило Алексея Николаевича его ненасытное творческое любопытство к людям и делам их! Он был человеком могучего здоровья, темперамента и энергии. Казалось, что сказочный дух праздника вселялся в него. Иногда даже трудно было сопутствовать ему в неумных затеях, желаниях, выдумках и осуществлении их, тем более что все это несло в каком-то вихревом темпе и требовало хотя бы просто больших физических сил. Он мечтал, чтобы праздником стала ежедневная жизнь каждого человека и в труде, и в искусстве, и в науке, и в общении людей друг с другом, и глубоко верил, что скоро так и будет. Он страстно любил русский народ, его язык, его искусство.

\* \* \*

Еще зимой 1940 года, в Москве, мы с мужем пригласили Алексея Николаевича с женой приехать к нам летом в деревню Дубово на озеро Селигер, где у нас был забавный и довольно большой дом. В то лето у нас гостили уже несколько друзей, а вокруг, на Селигере, жило их много. Некоторые из них были также и друзьями Толстого. Бывало у нас весело и шумно, что никак не могло отпугнуть Алексея Николаевича — скорее наоборот. К услугам приезжавших у нас имелось две яхты и несколько байдарок. Дом был расположен на самом берегу озера, на Березовском плесе. Купаться мы обычно переправлялись в байдарках на противоположный берег, где был дивный песчаный пляж.

В начале августа получаем телеграмму-молнию: «Выехали, встречайте, Толстой». Художник В. С. Басов, кото-

рый жил вместе с нами в Дубове, отправился рано утром на пароходе встречать Толстых к поезду в г. Осташков, а часам к одиннадцати утра они все, обратным пароходом, были уже в Дубове.

Хотелось достойно встретить желанных гостей. Со стороны озера к дому была пристроена огромная открытая терраса с широкой лестницей в центре. Настил террасы, лестница и перила были укреплены на восьми толстенных рубленых бревнах, образующих высокие тумбы. Мы решили украсить их для торжественного шествия приехавших. На нижних двух столбах посадили прирученных мною двух ястребов, уже почти взрослых; на верхние два — в последний момент — должны были встать «на арабеск» две балерины — одна из них Татьяна Вечеслова (неугомонный товарищ, под стать Толстому), на остальных столбах, в огромных глиняных макитрах для теста, поставили невероятной величины букеты полевых цветов. Не выпавшийся в поезде и досыпавший на пароходе, Толстой был ошеломлен и окончательно проснулся. Вскоре привезенные вещи были распакованы, и Алексей Николаевич торопился начать немедленно наслаждаться всеми благами, которыми изобилует Селигер и его разнообразная природа.

Мы были слегка смущены негостеприимным поведением погоды — почти непрерывно лили дожди, но Алексей Николаевич уверял, что мы «ничего не понимаем, погода дивная, нечего обращать внимание на какой-то дождь». Он нас убедил, и мы решили считать, что дождя нет. Во всяком случае, он не препятствовал нам совершать далекие походы на яхтах и байдарках, целый день купаться, ловить рыбу, бродить по лесам за грибами и навещать знакомых, живших на других плесах. Вечерами, иногда промокшие и продрогшие за день, мы растапливали наш огромный камин; Алексей Николаевич занимал место на чучеле большой тихоокеанской черепахи, служившей сиденьем перед камином, остальные располагались вокруг, кто на ковре, кто на тахте, и начинались увлекательные беседы. А наутро — опять исследование новых плесов, островов, заводей озера Селигер. Так в окружении красот природы и ощущении непрерывного праздника незаметно прошли две недели, и срочные дела ждали уже Алексея Николаевича в Москве. Он уже влю-

бился в Селигер,— это случалось почти с каждым, кто бывал там,— так влюбился, что решил на все будущее лето приехать к нам; писать третью часть «Петра». Перед его отъездом мы отправились на туристскую базу в деревню Бараново, где была маленькая верфь, и Толстой заказал себе, для будущего лета, какую-то особо комфортабельную байдарку. Но всему этому не суждено было сбыться. 22 июня 1941 года началась война, и сразу же путь на Селигер был закрыт.

\* \* \*

Во второй половине октября 1941 года в Перми, получив вызов в Ташкент, я пытаюсь попасть в какой-нибудь поезд и устраиваюсь в эшелоне Академии наук, эвакуированном из Москвы 16 октября и направляющемся в Узбекистан.

Едут очень мрачные, бледные, растерянные люди. Мало кто соображает, куда и зачем едет; настроение подавленное. Стараются преимущественно спать — чтобы не думать, очевидно. В вагонах не прибрано. Почти не разговаривают. Остановка в Свердловске. Начальник нашего эшелона каким-то образом умудрился получить на вокзале газеты. По вагонам переходят из рук в руки несколько экземпляров только что полученной газеты, в которой помещена статья А. Н. Толстого «Что мы защищаем». Впечатление незабываемое — люди оживают на глазах. Читают статью вслух, сначала приглушенно, потом все громче звучат голоса, многие вытирают слезы — почти счастливые слезы.

Поезд отходит от Свердловска, увозя повеселевших людей. Ходят из вагона в вагон, все очень предупредительны и заботливы друг к другу.

Часто стоим на путях, забитых эшелонами. В каких-то поездах уже прочитали чудодейственную статью и спешат поделиться впечатлениями. Кто-то жадно хватается передаваемые газеты.

А. Н. Толстой всегда был оптимистом и патриотом, но в дни войны все это необычайно выросло в нем, он почувствовал себя мобилизованным воином и сумел найти поистине чудотворные мысли и слова, чтобы помочь завоевать победу Родине.

\* \* \*

В Ташкент Алексей Николаевич приехал из Горького в декабре 1941 года. Узбекское правительство с большой заботливостью, вниманием и уважением встретило А. Н. Толстого. Немедленно по приезде он начал вести необычайно интенсивную жизнь. Внимательно следил за всем, что происходило на фронте и по всей стране, но так же, как и всегда, в утренние часы он выполнял свой писательский план. И конечно, как и везде, он быстро «обрастал» людьми. В самые тяжелые дни, каковы бы ни были известия с фронта, его ни на минуту не покидала уверенность в победе.

О литературном мастерстве он, видимо, не забывал при любых обстоятельствах и как-то, когда мы проходили с ним по довольно мрачным в то время улицам Ташкента, вне связи с предыдущим разговором сказал мне: «Понимаешь, какое дело... свое первое «А» — толстовское — я сказал впервые, когда мне было уже 46 лет» (46 лет Алексею Николаевичу было в 1929 году. Писал он тогда вторую часть «Хождения по мукам», кончил пьесе «На дыбе», являющуюся подступами к «Петру Первому», а в 1930 году он уже писал первую часть «Петра»).

Вспоминаю, как однажды мы шли в Академию наук, где Алексей Николаевич должен был читать первую часть «Грозного» в довольно узком и избранном кругу слушателей. Алексей Николаевич заметно волновался, но был в нем и некий задор. Прогнозы он изрекал мрачные: «Вот будешь присутствовать при том, как меня «разложат» и я буду опозорен академиками; я знаю — многие уже прицелились, будут придирается к языку, к нигде не описанным, выдуманным мною деталям, опущенным мною датам и прочему, вероятно очень важному, для историков, но не для искусства — у искусства свои законы!» — говорил он.

Прогнозы оказались неверными. Среди довольно большого количества собравшихся, помню, были и выступали академик Греков, академик Шишмарев, академик Виппер, профессор Нечкина, Чуковский и другие. Толстой своим чтением так забрал в полон всех слуша-

телей, что, когда он кончил, было ясно, что победа осталась за ним. Кроме художественной убедительности образов и всего произведения в целом, восторженно отмечали воссозданный Толстым разговорный язык времен Ивана Грозного; как раз та проблема, над которой, по свидетельству присутствовавших специалистов, многие работали и работают и которую А. Н. Толстой, средствами и способами искусства, так прекрасно решил в «Грозном». «Придирки» были, но столь незначительные, что они утонули в хвалебных отзывах о новом произведении А. Н. Толстого.

\* \* \*

Толстой всегда очень любил театр, и ему удавалось иногда «дорваться» до участия в профессиональных спектаклях в качестве актера. Помню, как он очень давно, в Москве, играл в своей пьесе «Касатка», играл очень хорошо, наряду с первоклассными актерами, ничуть не нарушая ансамбля. Было очень забавно, как он однажды «рвался» даже в балет. Когда работали над постановкой «Эсмеральды» в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова, он говорил Татьяне Вечесловой — исполнительнице роли Эсмеральды: «Татьяна, будет невероятным свинством, если мне не дадут возможности участвовать в этом спектакле. Возьми меня хоть на роль козы». — «Какой козы?» — спросила Вечеслова. «Ну как же, неужели ты будешь Эсмеральдой без козы? Никакого успеха не будет и не может быть! Гельцер, в Большом, всегда выходила с козой!» Конечно, это было шуткой, но стремление участвовать в спектакле было искренним.

\* \* \*

Как-то весной в Ташкенте Республиканская комиссия помощи эвакуированным детям устраивала концерт в пользу эвакуированных детей. Толстой написал для этого случая очень смешной, одноактный скетч, в котором он и Михоэлс согласились участвовать в качестве исполнителей. Концерт состоялся. Когда, к концу скетча, Михоэлс и Толстой остались одни на сцене и должен был уже за-

крыться занавес, то, как рассказал Михоэлс, Толстой подошел к нему и шепнул умоляюще: «Давай поиграем еще,— не уйду со сцены,— тебе, может, уже надоело, ты актер, а я вот дорвался...» Михоэлс не мог отказать Толстому и они еще какое-то время бессловесно импровизировали что-то и очень смешили зрителей.

Из Ташкента Толстого вызывали в Москву и Куйбышев, ездил он и в Алма-Ату, не говоря уже о поездках по Узбекистану. А в мае 1942 года он уже окончательно уехал в Москву.

В Москве, до самого Дня Победы, все интересы и дела А. Н. Толстого подчинены были войне. Он был человеком поистине богатырского духа и здоровья. Даже вспоминая, не перестаешь удивляться, как успевал он так много написать и выполнить в тяжелые дни войны.

\* \* \*

Как много дала мне в жизни дружба с Алексеем Николаевичем! Редко с кем я могла быть столь откровенной, как с ним. После наших встреч или прочтения его новых произведений я всегда возвращалась в свою жизнь обогащенная большими чувствами, страстным, взволнованным и, я бы сказала, горделивым отношением к жизни.

Хотелось больше знать, больше работать, больше любить, больше ненавидеть... но всегда — больше!

Многое из происходящего на всем земном шаре и в моей маленькой жизни заставляет меня почти ежедневно вспоминать Толстого, и как часто мне не хватает общения с ним!

Удивительно многообразные и увлекательные проекты строил Алексей Николаевич на ближайшие годы. Тут были замыслы и новых произведений, и больших общественных дел, в связи с осуществлением которых собирался он в грандиозные и стремительные поездки по Союзу и в зарубежные страны. И как гнусно и несправедливо болезнь и смерть оборвали эту великолепную жизнь.

\* \* \*

Мне хотелось вспомнить и описать запомнившиеся встречи с А. Н. Толстым. Я — художник, и в связи с этим и моими индивидуальными качествами, вероятно, произошел отбор в памяти тех, а не других фактов и изображений. О другом — напишут другие.

Слово для меня — чужой и плохо мне поддающийся материал, — да простит меня А. Н. Толстой.

1956